

Перспективным направлением здесь является изучение транснационального измерения культуры памяти о Первой мировой войне, выраженного в формировании межправительственных организаций, международного права, интернациональных ветеранских союзов и совместных военных захоронений.

Характеризуя в целом развитие и актуальное состояние немецкой историографии Первой мировой войны, следует ещё раз подчеркнуть, что особенности становления сближают её с советской/российской традицией восприятия и изучения Первой мировой войны. Для обеих характерны длительная общественная и научная маргинализация Первой мировой, оказавшейся в тени последующих войн и политических пертурбаций, и пробуждение пристального интереса к ней в конце 1980-х гг. Не подлежит также сомнению растущее влияние на современные немецкие исследования по этой тематике основных тенденций мировой историографии: движения от политизации к историзации войны, от традиционной военной истории (*Militärgeschichte*) – к социальной, а затем культурной истории и антропологии войны, от национально замкнутой историографии – к глобальному взаимодействию историков на фоне укрепления англо-американской исследовательской ориентации. Последнее замечание не следует рассматривать как признание вторичности усилий немецких историков. Сделанное немецкой историографией в области изучения Первой мировой войны заслуживает уважения и самого пристального внимания.

---

## **Долгое возвращение в Европу: Изучение Первой мировой войны и американская русистика**

*Ольга Большакова*

Поток исторической литературы о Великой войне не иссякает уже почти 100 лет, однако львиная её доля всегда была посвящена Западному фронту. Восточный же фронт, как считается, «открыл» для западного научного сообщества в 1975 г. британский историк Н. Стоун, опубликовавший монографию, в которой впервые на архивных материалах развенчивались многие мифы относительно участия России в войне<sup>1</sup>. Помимо истории военных действий он отдал дань и экономической истории, доказывая, что Российскую империю погубила неудовлетворительная логистика, а вовсе не некомпетентность командования и нехватка вооружений. Тем не менее долгое время для зарубежных русистов Первая мировая в какой-то степени оставалась «неизвестной войной»<sup>2</sup>.

---

© 2014 г. О.В. Большакова

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-01-00061.

<sup>1</sup> Stone N. The Eastern front, 1914–1917. L., 1975. Это была первая работа, написанная историком из союзной державы, до того Восточный фронт анализировался и описывался в основном немецкими исследователями, т.е. с противоположной стороны. См. об этом: Winter J., Prost A. The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the present. Cambridge, 2005.

<sup>2</sup> Так американские издатели озаглавили посвящённый Восточному фронту шестой том труда сэра Уинстона Черчилля «Мировой кризис»: Churchill W.S. The unknown war. The Eastern front. N.Y., 1931.

Причины того достаточно очевидны. В то время как для Западной Европы Первая мировая война явилась точкой отсчёта в возникновении нового миропорядка, в России таким основополагающим событием стала Октябрьская революция. Первая мировая не просто померкла в тени Октября и последующей Гражданской войны с её ужасающими жертвами и разрушениями, но активно вытеснялась в СССР на обочину национальной памяти, даже замалчивалась, что не могло не отразиться на исторических исследованиях. Во многом следовавшая за советской историографией зарубежная русистика хотя и не полностью подписывалась под тезисом о «всемирно-историческом значении Великого Октября», однако же отводила революции центральное место в исследовательской повестке дня. Роль Первой мировой в падении старого режима мало кем отрицалась, но её трактовали достаточно инструментально: смог бы царизм выжить, если бы не война? Насколько военные бедствия ускорили революционный взрыв? Немногочисленные исследования Первой мировой обычно завершались 1917 г., с которого начинался отсчёт Новейшего времени. Получалось, что война для России фактически закончилась в 1917 г., в то время как Европа продолжала воевать («похабный» Брестский мир терялся в волнах революционных событий, захлестнувших страну). Таким образом Россия отсекалась от Европы.

Хронологический рубеж 1917 г. был лишь одной из инкарнаций того символического барьера, который на многие десятилетия отделил Россию от Запада. Однако он задавал жёсткие рамки для соответствующего понимания истории XX в. как в нашей стране, так и за рубежом. Это была одна из болевых точек историографии, и её коснулся американский историк П. Холквист, выпустивший в 2002 г. книгу, в которой предложил рассматривать революции 1917 г. как часть «непрерывного кризиса» 1914–1921 гг., поразившего всю Европу<sup>3</sup>. Главная мысль книги заключалась в том, что именно Первая мировая война сформировала наиболее характерные черты большевистского режима. Нельзя сказать, что это был одиночный «выстрел в ночи» – буквально через год появились ещё две книги, в которых пересматривалось значение Первой мировой войны для последующей истории России (точнее, возникшего на обломках империи Советского Союза)<sup>4</sup>.

Насколько назрела к этому времени необходимость в ревизии «рубежа 1917 года», подтверждается тем, с какой лёгкостью была воспринята предложенная Холквистом «новая хронология», с какой быстротой она утвердилась не только в американской русистике, но и в отечественной историографии. В американской историографии России книга в каком-то отношении подвела черту в борьбе с «парадигмой 1917 года», начавшейся сразу же после распада СССР и длившейся на протяжении 1990-х гг., когда, собственно, Холквист писал диссертацию и готовил на её основе свою монографию. Она вобрала в себя дух «революционных 90-х» с их иконоборчеством, стремлением пересмотреть устаревшие интерпретации времён холодной войны и, главное, «вернуть» Россию в европейскую историю. Однако смысл предложенной Холквистом хронологии принадлежит уже новому веку, поскольку открывает новую перспективу для

---

<sup>3</sup> *Holquist P.* Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921. Cambridge (Mass.), 2002.

<sup>4</sup> *Lohr E.* Nationalizing the Russian Empire: The campaign against enemy aliens during World War I. Cambridge (Mass.), 2003; *Sanborn J.A.* Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905–1925. De Kalb, 2003.

понимания и интерпретации истории России/СССР, в которой русская революция перестаёт быть событием единичным и уникальным, а «возвращение в Европу» становится свершившимся историографическим фактом.

Сегодня кажется очевидным, что само понятие «кризиса 1914–1921 гг.» подразумевает общеевропейское измерение. Но очевидным это стало в том числе и после публикации монографии Холквиста, где он предпринял лобовую атаку на идею о российской исключительности и буквально на каждом шагу указывал на параллели российской и европейской политики и практики кризисного периода<sup>5</sup>. Он доказывал, что включение революции в общую канву войны делает её событием, принадлежащим европейской, а не исключительно русской истории. Да и для понимания Первой мировой войны в целом «русский опыт» имеет ключевое значение, поскольку революции 1917 г. оказали серьёзное влияние на всю «экосистему» Европы военного времени<sup>6</sup>.

В своём исследовании Холквист во многом опирается на свидетельства и суждения современников событий – П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, писавших о неразрывности войны и революции, – однако развивает их мысли в соответствии с сегодняшними представлениями, пронизанными ощущением тесной взаимосвязанности событий, практик, идей, слагающихся в единый исторический контекст. Он предлагает рассматривать революцию как длительный процесс, а не отдельное событие, и учитывать те серьёзные институциональные, политические и идеологические изменения, которые произошли в стране в эпоху всеобщей мобилизации военного времени. Гражданская война (а на самом деле, по мнению Холквиста, множество мелких взаимопересекающихся и накладывающихся друг на друга гражданских войн и национальных конфликтов, которые служили средствами для реализации того или иного политического проекта) трактуется им как неизбежная составная часть революционного процесса<sup>7</sup>.

Фактически, если смотреть с точки зрения традиционной военной истории, Холквист написал историю «тыла», причём историю политическую, уделяя основное внимание институтам и политическим практикам эпохи военного кризиса, которые рассматриваются в общеевропейской перспективе. В годы Первой мировой войны, принявшей тотальный характер, во всех воюющих странах происходила своего рода «экспансия» государства, которое распространяло свой контроль на население и экономику, все активнее вторгаясь в частную сферу. Указывая, что все воюющие державы применяли примерно одни и те же меры для мобилизации населения, Холквист подчёркивает, что только сравнительный контекст позволит выявить российские особенности этого процесса.

Отличие, на которое историк указывает сразу же, заключалось в отсутствие развитой системы публичных институтов (гражданского общества), которые в европейских странах существовали уже не одно столетие и были лишь реорганизованы для военных нужд. Так что, отвечая на потребности мобилизации военного времени, России пришлось, по его мнению, в каком-то отношении действовать «с нуля», что привело к возникновению так называемых пара-

---

<sup>5</sup> Отвергая попытки трактовать приведенные в его книге факты как доводы в пользу «особости» России, историк пишет, что «задача исследователя должна состоять не в поиске причин, по которым Россию можно было бы считать аномалией, а в определении специфики российского воплощения общеевропейской практики» (*Holquist P. Op. cit. P. 222*).

<sup>6</sup> *Ibid. P. 2.*

<sup>7</sup> *Ibid. P. 3, 6.*

государственных структур – институтов, в которых государство и общество были тесно переплетены между собой и где последнее наконец-то смогло играть прежде ему недоступную политическую роль<sup>8</sup>. В результате Февральской революции к власти пришли люди, которые активно сотрудничали в данных организациях и при этом разделяли общую для России убежденность в том, что государство является единственным эффективным и легитимным инструментом трансформации общества<sup>9</sup>. В их распоряжении и оказались «парагосударственный комплекс» и выработанные в годы войны практики государственного насилия (карательные отряды, оккупационные режимы, военные трибуналы, концентрационные лагеря), посредством которых предстояло провести революционную перестройку политической системы и общества. Свергнувшие Временное правительство большевики также не отказались от революционной массовой мобилизации, продолжая применять военные методы для достижения своих ещё дальше идущих целей по трансформации не только общества, но и самого человека. Таким образом, пишет Холквист, насилие привносилось в самое основание политического строя, и эта черта также отличала Россию от других воюющих держав, которым после войны в общем и целом удалось «демобилизоваться» и вернуться к практике управления, свойственной мирному времени<sup>10</sup>. Из-за слабого развития гражданской сферы в довоенной России институты и практики тотальной мобилизации «стали “кирпичиками” для построения как нового государства, так и нового социально-экономического строя»<sup>11</sup>. Советскую систему «перманентного насилия», таким образом, создала не только идеология большевиков и вековое наследие самодержавия, но и война.

Свою концепцию Холквист разрабатывает на материале Области войска Донского, пытаясь совместить общеевропейский контекст с локальной историей. Поскольку основной акцент в исследовании сделан на изучении политических практик как инструментов реализации тех или иных идеологических проектов, регион, который подолгу находился под контролем и красных, и белых, являет собой прекрасную возможность для проведения сравнительного анализа. Холквист анализирует возникновение и трансформацию трёх сфер деятельности государства, где особенно активны были его контакты с населением (в данном случае с «разными претендентами на политическую власть» – царским правительством, Временным правительством, белыми, большевиками, казацкой старшиной)<sup>12</sup>. Это обеспечение продовольствием, использование институционализированного насилия и политический надзор за населением. Историк обнаруживает сходные черты в деятельности всех перечисленных выше правительств на Дону и подчёркивает, что одни и те же политические практики могли служить достижению самых разных идеологических целей.

Сосредоточимся только на одном из перечисленных Холквистом векторов – на проблеме обеспечения продовольствием, которая достаточно остро стояла уже на «дореволюционном этапе» Первой мировой войны. Сюжет о

---

<sup>8</sup> Здесь Холквист опирается на идеи Д. Гайера, писавшего о возникновении таких парагосударственных (parastatal) комплексов в европейских странах.

<sup>9</sup> Именно на этой посылке основывалась развернутая и яростная критика самодержавия всеми слоями общества (ещё одно отличие России от Европы, где существующий строй не подвергался столь массивным и единодушным нападкам).

<sup>10</sup> Holquist P. Op. cit. P. 4–5.

<sup>11</sup> Ibid. P. 286.

<sup>12</sup> Ibid. P. 6.

хлебозаготовках постоянно возникает в ходе повествования и рассматривается автором как на общенациональном, так и на местном уровне. Исследователь учитывает особенности Области войска Донского как одной из главных «житниц» страны, а также разнообразие национального и социального состава населения, в первую очередь наличие казачества, на которое делали ставку многие политические силы. Одновременно он обращает внимание на тот факт, что в ходе тотальной войны все воюющие державы сосредоточили снабжение и распределение продовольствия в руках правительственных организаций. Особенности «русского варианта» заключались в том, что как правительство (в частности, чиновники новой генерации в Министерстве земледелия под началом Кривошеина), так и его оппоненты (главным образом кадеты) настаивали на приоритете государства в организации снабжения продовольствием армии и населения. В то время как в Германии и Великобритании ставка изначально делалась на коммерческие структуры, в России была поставлена задача максимально вытеснить частную торговлю и «посредников» из системы закупок зерна и работать непосредственно с производителем.

В начале войны ситуация с продовольствием не внушала правительству особых опасений, и первые его меры в августе 1914 г. были направлены лишь против спекуляции. Только в феврале 1915 г. стали предприниматься шаги в области государственного регулирования цен на зерно, а летом, после отступления из Галиции и с ухудшением общей продовольственной ситуации в стране, вслед за военно-промышленными комитетами по образцу английских и немецких парасоциальных организаций начали создаваться Особые совещания, в том числе по обеспечению продовольствием. Тем не менее главной целью правительственной политики в этой сфере оставалась борьба со спекулянтами. В 1916 г. активно обсуждался вопрос о введении государственной монополии на торговлю зерном (которую к тому времени ввела у себя Германия), звучали предложения ввести развёрстку, но эту программу реализовало уже Временное правительство. 1917 г. стал переломным в деле хлебозаготовок на европейском континенте: весной этого года Германия начала проводить реквизиции зерна, а Австро-Венгрия для изъятия хлеба в деревнях отозвала с фронта 50 тыс. человек. В России в начале 1918 г. функционеры-хлебозаготовители, назначенные ещё Временным правительством, требовали в своё распоряжение всё больше воинских подразделений.

В деле обеспечения продовольствием Германия служила своего рода маяком, примером эффективности планирования для других стран. Однако если в Германии общественные дебаты по зернопоставкам отражали противостояние между производителями и потребителями, то в России политики и общественные деятели сосредоточивались на критике правительства и незаконии частной торговли. Когда чиновники Особого совещания признали необходимость опоры на «частника», общественники в Земгоре (П.Б. Струве, В.Г. Громан) агитировали за более систематическое вмешательство государства в эту сферу. Они хотели заменить «невидимую руку рынка» государством, и к 1917 г. сделать это удалось. Зерно сосредоточилось в руках производителя, и государство оказалось единственным реальным игроком в сфере его распределения<sup>13</sup>.

Таким образом, введение контроля над экономикой в СССР являлось не только воплощением большевистской идеологии, но также расширением и продолжением той практики, которая получила распространение во всей Европе в

---

<sup>13</sup> Ibid. P. 33–36.

годы войны. Свою общность в этом отношении с Европой прекрасно осознавали как дореволюционные чиновники, так и ведущие советские экономисты, занимавшиеся разработкой планового хозяйства. Фиксируя наличие серьёзной традиции «научного и рационального» планирования в среде специалистов – бывших сотрудников Министерства земледелия, Холквист описывает их противостояние реформе атамана Краснова, который в мае 1918 г. ввёл на Дону свободную торговлю зерном. История хлебозаготовок встроена историком в детальное повествование о революционных событиях на Дону, и это история нарастающего по своему накалу насилия. Одна из особенностей России заключалась в том, что революция произошла здесь в разгар войны, и характерные для последней практики насилия начали всё активнее применяться по отношению к мирному населению. При этом Холквист указывает на тот факт, что Великая война не закончилась перемирием 11 ноября 1918 г., а продолжалась в виде революционных катаклизмов и гражданских войн во всей Восточной и Центральной Европе, в Турции и на Балканах, Италии и Ирландии – повсюду, где создавались новые государства, менялись политические системы, переживало тяготы поражения и послевоенной разрухи население<sup>14</sup>. Так что, по его мнению, «русский случай» является, пожалуй, наиболее репрезентативным для понимания испытаний военного времени, пережитых континентальной Европой. Но его отличает высокая интенсивность протекавших процессов, включая и уровень насилия в 1917–1921 гг.<sup>15</sup>

Насилие – особая тема, которая последние 20 лет занимает ведущее место в западной историографии Первой мировой войны. Рассматриваются самые разные его аспекты, от насилия в бою и в отношении мирного населения до его физического и психического воздействия на человека. Особое место занимает вопрос о влиянии насилия Первой мировой войны на политический климат в послевоенной Европе<sup>16</sup>. Книга Холквиста, где речь идёт об истоках советского государства и анализируется не специфически «русское» или «большевистское» революционное насилие, а разные ипостаси насилия политического, государственного, определено вписывается в историографический ландшафт дебатов о воздействии Великой войны на последующую конфигурацию европейских обществ. Однако для рассмотрения проблемы насилия Холквисту явно оказались тесны региональные рамки Дона, и в масштабной статье, опубликованной через год после выхода книги, он рассмотрел ещё один важный аспект этой темы: депортации населения<sup>17</sup>. Он расширил хронологические рамки, обозначив период разворачивания «революционного насилия» в России 1905–1921 гг.,

---

<sup>14</sup> Да и в «образцовых» странах Антанты демобилизация протекала отнюдь не гладко. См.: *Seipp A.R. The Ordeal of Peace: Demobilization and the Urban Experience in Britain and Germany, 1917–1921.* Farnham, 2009.

<sup>15</sup> Историки Западной Европы, в свою очередь, фиксируют общее нарастание насилия, brutalization боевых столкновений и усиление жестокости по отношению как к военнопленным, так и к мирному населению в 1917–1918 гг. См., в частности: *Jones H. Violence against Prisoners of War in the First World War. Britain, France and Germany, 1914–1920.* Cambridge, 2011.

<sup>16</sup> *War in peace: paramilitary violence in Europe after the Great War / Ed. by R. Gerwarth and J. Horne.* Oxford, 2012; *Horne J., Kramer A. German atrocities, 1914: a history of denial.* New Haven, 2001; *Dynamic of destruction: culture and mass killing in the First World War.* Oxford, 2007; *Hull I.V. Absolute destruction: military culture and the practices of war in Imperial Germany.* Ithaca, 2005; *Bourke J. An intimate history of killing: face-to-face killing in twentieth-century warfare.* N.Y., 1999; и др.

<sup>17</sup> *Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–21 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* 2003. Vol. 4. № 3. P. 627–52.

и ввёл в свой анализ имперское измерение, что позволило затронуть не только практики колониального управления, выработанные ведущими державами на протяжении предшествовавшего времени, но и проблему национализма. Этот переход от политической истории национального государства к истории империи характерен для русистики, которая пару десятилетий назад вслед за мировой исторической наукой пережила «имперский поворот».

Изучение Восточного фронта в рамках имперской парадигмы – направление, которое начало развиваться в англоязычной историографии России в XXI в., – также способствует «возвращению» России в общеевропейский, а точнее, в глобальный исторический контекст, но в несколько ином ключе, нежели это сделал Холквист в своей книге. Имперское измерение встраивает Россию в пространство не только Европы, но и Средиземноморья, и Азии, поскольку одним из главных объектов анализа является в этом контексте Османская империя. Здесь можно выделить две крупные темы: во-первых, крушение империй (роль Первой мировой войны в этом процессе признается всеми, хотя трактуется по-разному<sup>18</sup>); во-вторых, насильственные перемещения населения, политика оккупационных режимов на захваченных территориях, наконец, геноцид, занимающие всё более значимое место в исследованиях Восточного фронта. Первопроходцами в этой области стали британские историки П. Гатрелл и Н. Бэрн<sup>19</sup>. Американские русисты больше внимания уделяют проблеме насилия, разрабатывая её на материале обширного региона Центрально-Восточной Европы, где сошлись «колониальные окраины» империй, в том числе и Российской (впрочем, без внимания не остаётся и Кавказ). При таком подходе утрачивают значение государственные границы, и Россия оказывается одним из активных участников общемировых событий<sup>20</sup>.

Можно было бы сказать, что изучение Восточного фронта в контексте распада континентальных империй обещает долгожданное возвращение России в Европу. Вместе с тем оно предполагает выход за рамки национальных историй – перспектива, давно чаемая зарубежными историками Первой мировой войны<sup>21</sup>. Общее движение исторических исследований в сторону глобализма

---

<sup>18</sup> См., в частности: *After empire: multiethnic societies and nation-building: the Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg empires* / Ed. by K. Barkey, M. Hagen von. Boulder, 1997; *Reynolds M.A. Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires, 1908–1918*. Cambridge, 2011.

<sup>19</sup> *Gatrell P. A whole empire walking: refugees in Russia during World War I*. Bloomington, 1999; *Homelands: war, population and statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924* / Ed. by N. Baron, P. Gatrell. L., 2004.

<sup>20</sup> *Liulevicius V.G. War land on the Eastern Front: Culture, national identity, and German occupation in World War I*. Cambridge, 2004; *Prusin A.V. Nationalizing a borderland: War, ethnicity, and anti-Jewish violence in East Galicia, 1914–1920*. Tuscaloosa, 2005; *Sanborn J.A. Unsettling the empire: violent migrations and social disaster in Russia during World War I* // *The Journal of Modern History*. 2005. Vol. 77. № 2. P. 290–324; *idem. The genesis of Russian Warlordism: Violence and Governance during the First World War and the Civil War* // *Contemporary European history*. 2010. Vol. 19. № 3. P. 195–213; *Hagen M. von. War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918*. Seattle, 2007; *Holquist P. The role of personality in the first (1914–1915) Russian occupation of Galicia and Bukovina* // *Anti-Jewish violence: Rethinking the pogrom in East European history* / Ed. by J. Dekel-Chen et al. Bloomington, 2010. P. 52–73; *Shatterzone of empires: Coexistence and violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman borderlands* / Ed. by O. Bartov, E.D. Weitz. Bloomington, 2013.

<sup>21</sup> Вышедшая в марте этого года Кембриджская история Первой мировой войны заявлена её главным редактором Д. Уинтером как «транснациональная». См.: *The Cambridge History of the First World War*. In 3 vols. Cambridge, 2014.

и транснационализма, в том числе и в изучении Великой войны, выносит за скобки вековую проблему «Россия и Европа», как она понималась в эпоху национализма.

Однако остаётся ещё один аспект «возвращения в Европу», который для историографии не менее, а возможно, и более важен, нежели европейский статус России в воображаемой географии. Это интеграция в мировую историческую науку – начатый американской русистикой в 1990-х гг. и во многом успешный процесс, в случае с изучением Первой мировой войны пока далёкий от серьёзных достижений. Стоит заметить, что «интеграция» до самого последнего времени подразумевала ориентацию русистики на очень развитую американскую историографию Западной Европы Нового времени. И хотя исследования Первой мировой войны здесь не так многочисленны и сопоставимы в количественном отношении с европейскими (британскими, французскими и немецкими), тон и моду задают всё же американцы. Среди ведущих направлений исследований Великой войны мы не встретим историю империй, здесь другая система координат. Гендер, насилие, религиозность – вот основные точки интереса, которые относятся к епархии «новой культурной истории». Но главной темой является здесь «война и память». Этой теме в американской русистике посвящено единственное пока исследование К. Петроне, в котором рассматривается динамика представлений о Первой мировой войне, циркулировавших в России в 1914–1941 гг.<sup>22</sup>

Одной книгой невозможно закрыть зияющую брешь в историографии, учитывая колоссальный объём того, что сделано в изучении этой тематики за последние 30 лет по Западному фронту<sup>23</sup>. И потому поставленную автором задачу интегрировать СССР в панъевропейскую историю памяти о Первой мировой войне следует признать по-настоящему амбициозной. Петроне не отрицает общепризнанного мнения, что в отличие от Западной Европы, где мифологизация Великой войны занимала центральное место в культуре межвоенного периода, в СССР это событие оставалось за рамками официального мифотворчества, которое было сосредоточено на Октябрьской революции и Гражданской войне. Однако же, обратившись к изучению литературных и изобразительных источников, она обнаруживает неожиданно большое количество материала, что позволяет ей реконструировать и исследовать советский дискурс о Первой мировой войне, во многих отношениях вполне сопоставимый с западноевропейским<sup>24</sup>. Она анализирует «Тихий Дон» М. Шолохова и «Необычайные похождения Хулио Хуренито» И. Эренбурга, фильм «Падение династии Романовых» Э. Шуб, пространство кладбища жертв войны и революции на Соколе и проект памятника мировому страданию Шадра. Помимо известных и крупных литературных произведений, в фокусе внимания историка и второстепенная, массовая литература, и журнальные публикации времён войны, и воспоминания, и военно-исторические труды. Петроне описывает судьбу проекта Генерального штаба Красной армии по изданию 12-томного собрания документов о Первой

<sup>22</sup> *Petrone K. The Great War in Russian memory. Bloomington, 2011.*

<sup>23</sup> Основополагающие работы в американской историографии: *Fussel P. The Great War and modern memory. Oxford, 1975; Winter J.M. Sites of memory, sites of mourning: the Great War in European cultural history. Cambridge, 1995; Winter J.M. Remembering war: the Great War between memory and history in the twentieth century. New Haven, 2006.*

<sup>24</sup> *Petrone K. Op. cit. P. 6.* По замечанию автора, она была поражена «количеством, качеством и разнообразием» подходов к теме «германской» войны в советском дискурсе, глубиной проникновения в психический и физический мир солдата, серьёзностью анализа «лица войны» (*Ibid. P. 199*).

мировой войне и прослеживает историю публикации книги С. Федорченко «Народ на войне», что позволяет сделать ряд интересных наблюдений о переменах в отношении к этой войне в СССР. По охвату материала монографию смело можно признать энциклопедической.

Всё это позволяет Петроне с большой долей уверенности фиксировать специфические черты, свойственные советскому варианту общеевропейского дискурса, и выявлять факторы, обусловившие их возникновение. Она отмечает, что маргинальное положение Первой мировой в советской культуре обуславливало наличие определённого интеллектуального и политического пространства, в котором опыт военного времени рассматривался более вариативно, а не в чёрно-белых тонах, как это было с Октябрьской революцией и Гражданской войной. По словам автора, в отсутствие организующей структуры общенационального мифа память о Первой мировой войне в СССР оказалась куда более мозаичной и неоднозначной, чем в Западной Европе.

Книга распадается на две части, вторая из которых посвящена политике памяти и более традиционна: в ней прослеживается, как память о Первой мировой (точнее, «германской» и «империалистической») войне постепенно вытеснялась на обочину советской культуры, а после 1945 г. окончательно отошла на задний план, что и позволяет историкам говорить сегодня о «забытой» войне. Это очень интересное, порой захватывающее повествование, но для целей настоящей статьи важнее первая часть книги, где рассматриваются темы, занимающие ключевое положение в современной западной историографии Первой мировой войны. Это религия, героическая маскулинность, насилие и патриотизм. Каждой из них посвящена одна глава – фактически, Петроне попыталась вместить в них всё богатство и многообразие современного исторического знания о памяти, включая и основы теории. Результат получился впечатляющий, поскольку затрагиваются проблемы, не известные даже специалистам. Правда, многие из них рассматриваются несколько пунктирно, что в конечном итоге было неизбежно. Складывается впечатление, что столь масштабно сформулированная цель «возвращения в Европу» в какой-то момент погребла под собой автора, не имеющего четкой концепции. В результате Петроне ограничилась решением конкретных исследовательских задач. Одна из них – выявление общности и различий российского/советского и западноевропейского дискурсов о войне – решается на протяжении всей книги.

Общность несомненна, когда речь идёт о патриотическом подъёме в годы войны или о религиозной составляющей, которая играла ведущую роль в мобилизации населения всех стран. Различия автор фиксирует, исследуя такие широко распространенные тропы западноевропейской культуры, как миф о мужском братстве офицеров и солдат (не получивший поддержки в советском дискурсе, где классовая составляющая имела большое значение) или понятие о применении насилия как очищающем и мужественном акте.

Принятые в СССР формы и способы изображения насилия, связанного с Первой мировой войной, исследуются в книге в свете современных представлений о «брутализации» политики в межвоенной Европе, произошедшей благодаря «нормализации насилия» в годы мировой бойни. Не соглашаясь с выводами о том, что особая жестокость и равнодушие к массовой гибели людей в отличие от западноевропейских демократий были характерны для диктатур Южной и Восточной Европы, Петроне упоминает об отсутствии в советском публичном дискурсе той эстетизации насилия, которую можно найти в работах Г. Д'Аннунцио и немецких писателей. Напротив, она фиксирует наличие

в воспоминаниях определённой рефлексии по поводу необходимости убивать людей, сожалений о своих «бездумных и инстинктивных» действиях. Да и в официальном дискурсе жестокость трактовалась как «несоветское» качество. Акты жестокости признавались «печальной необходимостью», их можно было оправдать только реакцией (как правило, спонтанной) на действия врага или особыми обстоятельствами войны, у которой свои законы. Характерной чертой советского дискурса было приписывание жестокости «другим», как правило, классовым врагам, в особенности казакам. В описаниях войны подчёркивались её ужасы, страдание и горе людей, физическая гибель и моральное разложение, наконец, психические травмы, полученные как солдатами на поле боя, так и мирным населением. Насилие не обязательно сопутствует героизму, скорее оно способно разрушать, а не строить мужскую идентичность, – идея, особенно часто встречающаяся в литературных произведениях. Благополучно соседствовала с ней идея о священном долге защищать родину с оружием в руках, что очередной раз свидетельствует о многозначности дискурса о войне.

Опираясь в своем анализе на категории гендера, этничности, класса и религиозной идентичности – эти четыре столпа мировой историографии 1990–2000-х гг., – Петроне стремится выявить преемственность между дореволюционным и советским периодами. Она прослеживает сохранение и трансформацию националистического и патриотического дискурса в 1920–1930-х гг., демонстрирует, что традиционные представления и религиозная образность продолжали своё существование, просочившись даже в официальные советские ритуалы, как это произошло с церемонией похорон генерала Брусилова. Точно так же сохранились и традиционные представления о низшем положении женщин и нерусских народов, которые можно обнаружить в языке, и в 1930-х гг. Советское государство, по мнению автора, достигло успехов не столько в выкорчевывании старого, сколько в создании гибрида старого и нового<sup>25</sup>.

Пожалуй, наиболее убедительным исследование Петроне оказалось в том, что касается истории советского общества, по поводу которого на материале памяти о Первой мировой войне сделаны интересные и проницательные наблюдения. С исходной же, скорее декларируемой, чем доказываемой посылкой книги, что история России принадлежит европейской истории, согласились далеко не все<sup>26</sup>. Но то, что в историографическом отношении «возвращение в Европу» благодаря рассмотренным в этой статье книгам состоялось, не вызывает сомнений.

Уже в этом году ожидается хороший «урожай» зарубежных исследований о Первой мировой войне, в том числе в рамках крупномасштабного проекта «Великая война и революция в России», инициированного британцами<sup>27</sup>. Силами международного коллектива специалистов предполагается выпустить десять томов, охватывающих историю «непрерывного кризиса 1917–1921 гг.». Издательством Оксфордского университета анонсирована публикация монографии Дж. Санборна, посвящённой Первой мировой войне и распаду Российской империи. Выходят и другие интересные работы. Что нового они добавят к пониманию истории Восточного фронта и Российской империи, покажет время.

<sup>25</sup> Ibid. P. 74.

<sup>26</sup> Идею о том, что Россия – не Европа, по-прежнему поддерживают некоторые русисты, правда, преимущественно в Великобритании, что далеко не однозначно, учитывая отношение самих британцев к «континентальной Европе». См.: Merridale C. *Rec. ad op.*: Petrone K. *The Great War in Russian Memory // American Historical Review*. Vol. 112. № 4.

<sup>27</sup> URL: <http://russiasgreatwar.org/index.php>